

ВЫЙТИ НА ЛЮБОЙ СТАНЦИИ

КНИГА 1

КОЛЬЦО БЕЗ ВЫХОДА

Иногда, чтобы найти себя,
нужно заблудиться
по-настоящему.

НИКОЛАЙ ГАНЮШКИН

Николай Ганюшкин

**Кольцо без выхода. Том 1 роман
"Выйти на любой станции"**

«Автор»

2026

Ганюшкин Н.

Кольцо без выхода. Том 1 роман "Выйти на любой станции" /
Н. Ганюшкин — «Автор», 2026

Восемнадцать лет. Синий аттестат. И ни одной догадки, что со всем этим делать. Пока одноклассники поступают, влюбляются и открывают бизнес, Артём делает единственное, что умеет, — тянет время. Подаёт документы туда, куда не хотел. Врёт, что «всё нормально». Катается по кольцевой линии метро, разглядывая чужие лица, потому что чужие судьбы придумывать легче, чем прожить свою. А потом появляется Марк — вчерашний одноклассник, у которого уже есть деньги, план и загорающийся уведомлениями телефон. «Пока ты решаешь, как правильно, другие живут неправильно и в ус не дуют — и, между прочим, счастливее». Марк предлагает лёгкий путь. И Артём почти готов свернуть на него — лишь бы кто-нибудь наконец сказал, куда идти. Первая книга цикла «Выйти на любой станции» — о том лете, когда пора было выходить, а он всё ехал. Куда приведёт дорога, если бояться сделать первый шаг?

© Ганюшкин Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Николай Ганюшкин

Кольцо без выхода. Том 1 роман

"Выйти на любой станции"

Глава

КНИГА ПЕРВАЯ

КОЛЬЦО БЕЗ ВЫХОДА

Часть I. Порог

Глава 1. Площадь трапеции

Есть люди, которые в восемнадцать уже знают, кем будут. Их снимают в мотивационных роликах: горящие глаза, стартап, отдельный тариф на уверенность в себе. К девятнадцати у них уже есть план на жизнь, к двадцати — запасной план на случай, если первый окажется слишком скучным. Я таких видел. Я даже сидел с некоторыми за одной партой. И всё, что я вынес из этого соседства, — твёрдое, выстраданное знание, что я не из них. Я знал ровно одно: что не знаю ничего. Причём знал это основательно, с внутренним стержнем — единственный стержень, который у меня в тот момент вообще имелся.

Школа закончилась так, как в этой жизни заканчивается всё по-настоящему важное: буднично и не вовремя. Ещё вчера от меня требовали формулу площади трапеции — полусумма оснований на высоту, я до сих пор помню, спасибо, очень пригодилось. А сегодня от меня требовали «определиться». И никто, ни один взрослый человек, не потрудился объяснить, почему считалось, что эти две задачи однотипны. Как будто существует где-то тайная закономерность: кто знает площадь трапеции, тот автоматически знает, зачем живёт.

Последний звонок прошёл под музыку, которую выбирала завуч Тамара Леонидовна, а Тамара Леонидовна выбирала музыку так, будто мстила нам за одиннадцать лет опозданий. Девочки плакали красиво, заранее отрепетировав, в какой момент промокнуть уголок глаза, чтобы тушь не поехала. Мальчики стояли с лицами людей, которых торжественно провожают неизвестно куда. Директор говорил про «дорогу жизни», и я, помню, подумал: если это дорога, то почему у меня нет даже примерного представления, в какую сторону она ведёт и где ближайшая заправка.

Нам вручили аттестаты. Красивые синие корочки, внутри — цифры, из которых складывался я. Не весь, конечно. Та часть меня, которую можно было измерить и внести в таблицу. По литературе — «пять», и это была честная пятёрка, единственный предмет, где мне казалось, что со мной разговаривают, а не диктуют. По алгебре — «четыре», выпрошенная у Веры Сергеевны в обмен на обещание «взяться за ум». Ума я так и не взял, но четвёрку оставили — видимо, из милосердия к статистике класса.

А потом всё кончилось. Просто кончилось.

Я вышел из школы в тот вечер и впервые в жизни столкнулся с явлением, к которому меня одиннадцать лет никто не готовил: у меня не было домашнего задания. И не будет завтра. И послезавтра. Никогда. Первую секунду это было похоже на счастье. Секунды со второй по бесконечную — на лёгкую панику, которую я старательно называл «свободой», потому что так она звучала приличнее.

Понимаете, всю сознательную жизнь мне кто-то ставил задачу. Учителя, родители, расписание, звонок. Мир был устроен как большая, слегка занудная, но надёжная машина, которая на каждый мой день выдавала инструкцию: сделай то, приди туда, реши это. Я привык

жаловаться на эту машину. Я считал её тюрьмой. И вот тюрьма распахнула ворота, вывела меня за руку на солнышко, сказала «ты свободен, парень» — и ушла. А я стоял на пороге и вдруг понял, что понятия не имею, куда идут люди, когда им никто не говорит, куда идти.

Домой я вернулся к десяти. Мать не спала — она вообще не спит, пока в квартире есть хоть один недосчитанный член семьи. Она встретила меня в прихожей с таким лицом, будто я вернулся не с последнего звонка, а с фронта, и посмотрела на меня тем особенным материнским взглядом, в котором любовь так плотно перемешана с тревогой, что уже не различить, где одно, где другое.

— Ну как? — спросила она.

Гениальный вопрос. «Как» — что? Как прошло? Как я себя чувствую? Как я собираюсь теперь жить? Я выбрал самый безопасный из вариантов ответа:

— Нормально.

«Нормально» — это универсальное слово, которым в нашей семье принято затыкать все дыры в разговоре. Оно ничего не значит и потому подходит ко всему. «Как в школе?» — «Нормально». «Как самочувствие?» — «Нормально». «Что ты думаешь о том, что жизнь конечна?» — «Да нормально, мам, отстань».

Она забрала у меня куртку, повесила, разгладила ладонью — ей обязательно нужно что-то делать руками, когда она волнуется. Из кухни доносился звук телевизора: отец смотрел новости с той сосредоточенностью, с какой другие люди изучают завещание. Отец у меня из тех мужчин, которые считают, что мир держится на их личном контроле за происходящим, и стоит им отвлечься от новостей, как всё немедленно рухнет.

— Отец хотел с тобой поговорить, — сказала мать вполголоса, и по тому, как она это сказала, я понял: разговор будет не про погоду.

— Про что?

— Ну ты же понимаешь. — Она поправила ему воображаемую складку на моём плече. — Надо решать. Время идёт.

Время идёт. За последний месяц я слышал эту фразу столько раз, что она перестала быть предложением и стала фоновым шумом, вроде гудения холодильника. Время идёт. Спасибо, я в курсе, я даже видел часы. Меня всегда завораживало, с какой уверенностью взрослые сообщают тебе очевидные вещи — так, будто до них эту истину никто не открывал. Время идёт. Земля круглая. Деньги на деревьях не растут. Я кивал. Кивать я научился в совершенстве — это, пожалуй, был мой главный навык, вынесенный из школы.

Я ушёл к себе, не заходя на кухню. Отцовский разговор можно было отложить на завтра — а завтра, как известно, лучшая из всех дат, потому что до него ещё нужно дожить, а значит, теоретически, можно и не успеть.

Моя комната была последним местом на земле, где от меня ничего не требовалось. Три на четыре метра суверенной территории. Кровать, стол, полка с книгами, которые я собирался прочитать (я собирался их прочитать примерно с той же серьёзностью, с какой люди собираются начать бегать по утрам). Я лёг поверх одеяла, не раздеваясь, и уставился в потолок. На потолке была трещина. Она появилась года три назад и с тех пор потихоньку росла — тонкая, извилистая, никуда не спешащая. Я любил на неё смотреть. Она была единственным в этой квартире, кто, как и я, двигался неизвестно куда и совершенно этим не тяготился.

Я достал телефон, открыл заметки. Пустая строка мигала курсором — терпеливо, требовательно. Я хотел записать что-нибудь важное. Что-нибудь такое, что объяснило бы мне самому, что я чувствую в этот исторический вечер окончания детства. Я подержал палец над экраном. Написал: «Что дальше?» Посмотрел на эти два слова. Они выглядели глупо и жалко, как объявление о пропаже, где вместо кота — вся твоя будущая жизнь. Я стёр их.

Потом подошёл к окну.

Наш двор в этот час был как театральная сцена после спектакля, когда актёры ушли, а декорации остались. Жёлтый свет одного-единственного работающего фонаря. Качели, на которых я в детстве раскачивался так, что цепи щёлкали, а мать кричала снизу, что я разобьюсь, — теперь на них никого. Песочница, где мы строили города и разрушали их с тем восторгом, какой у взрослых почему-то считается неприличным. Мусорные баки — три штуки, зелёные, вечные, единственная по-настоящему стабильная вещь в этом дворе. И надо всем этим — окна, окна, окна, сотни окон, и почти в каждом свет, и за каждым светом кто-то живёт свою жизнь, о которой я никогда ничего не узнаю.

Вот он, весь мой мир, подумал я. Вот качели. Вот песочница. Вот мусорка. Вот моя блестящая перспектива.

И где-то там, за этими крышами, лежал огромный город, который я, кажется, совсем не знал. Я прожил в нём восемнадцать лет и знал в нём три маршрута: дом — школа, дом — магазин, дом — бабушка. Всё остальное было терра инкогнита, белое пятно на карте, куда в старину рисовали чудовищ и писали «здесь драконы». Где-то там были люди, которые уже нашли себя. Где-то там были дороги, из которых мне предстояло выбрать одну — и, выбрав, навсегда закрыть все остальные. Эта мысль про «навсегда» была самой страшной. Я мог смириться с тем, что не знаю, чего хочу. Но смириться с тем, что любой мой шаг убивает тысячу непрожитых шагов, — вот к этому меня, ей-богу, за одиннадцать лет никто не подготовил.

Формулу площади трапеции — пожалуйста. А это — нет.

Я стоял у окна, восемнадцати лет от роду, с синим аттестатом на столе и трещиной на потолке, и впервые в жизни чувствовал то, чему тогда ещё не знал названия. Позже я пойму, что это называется просто: начало. Самое начало. Тот его сорт, что маскируется под конец и потому пугает до дрожи.

Но в тот вечер я названия не знал. Я знал только, что завтра надо будет что-то отвечать отцу. И что я, скорее всего, снова скажу «нормально».

Я лёг спать не раздеваясь. Свет во дворе горел до утра — фонарь, в отличие от меня, точно знал, зачем он тут стоит.

Глава 2. Список того, кем я мог бы стать

Утро в нашей квартире начинается с запаха. Кофе для отца, овсянка для матери, которая уже пять лет борется с холестерином отца в одностороннем порядке — отец в этой борьбе выступает на стороне холестерина. Я лежал, слушал, как на кухне звякает посуда, и оттягивал момент вставания с изобретательностью человека, у которого впереди целый день, ничем не занятый, и оттого пугающе бесконечный.

Раньше утро имело смысл: надо было в школу. Смысл был противный, но зато железный — не поспоришь. Теперь смысла не было. Я мог встать в семь, мог в двенадцать, мог не вставать вовсе — и мир бы этого даже не заметил. Свобода, о которой я так мечтал, оказалась примерно как безлимитный интернет в деревне, где нет вышки: технически всё разрешено, а по факту делать нечего.

Я встал в одиннадцать. Это был компромисс между чувством собственного достоинства и полным моральным разложением.

Мать уже ушла — у неё смена. Отец тоже на работе; он инженер на предприятии, которое я всю жизнь называл просто «завод», хотя, кажется, это давно не завод, а что-то более современное и менее понятное. Отец проработал там двадцать шесть лет. Двадцать шесть лет одного и того же маршрута, одной проходной, одного стола. Когда я об этом думал, мне становилось не по себе — не потому что это плохо, а потому что я не мог представить, как человек добровольно выбирает одну дорогу и идёт по ней двадцать шесть лет, ни разу не свернув посмотреть, что там за поворотом. Мне казалось, что это либо великая сила, либо великая сдача. Я так и не решил, что именно, — и, забегая вперёд, не решил до сих пор.

На кухонном столе лежала записка. Мать пишет записки — это её способ присутствовать в моей жизни, даже когда её нет. «Тём, суп в холодильнике, разогрей. Не сиди весь день в телефоне. Подумай про институт, время идёт». Три предложения — и в каждом по кванту любви и тревоги. Про суп — забота. Про телефон — контроль. Про институт — то самое. Время идёт. Даже на кухонном столе оно шло.

Я разогрел суп, сел, открыл ноутбук. И вот тут я совершил ошибку, которую совершает каждый растерянный человек на пороге взрослой жизни: я решил подойти к делу системно.

Я открыл пустой документ. Наверху написал: «КЕМ Я МОГУ СТАТЬ». Заглавными буквами — потому что дело было серьёзное, а серьёзные дела в моём представлении требовали капслова.

И начал думать.

Первым в голову пришло «программист». Естественно. Всем растерянным восемнадцатилетним мальчикам первым в голову приходит «программист» — это профессия по умолчанию, как серый цвет у стен в съёмных квартирах. Программисты много зарабатывают, программисты нужны везде, у программистов есть будущее. Я записал: «1. Программист». Потом подумал, что я ни разу в жизни не написал ни строчки кода и, честно говоря, засыпаю на середине любого объяснения, где встречается слово «алгоритм». Приписал в скобках: «(не умею, не люблю, но, говорят, деньги)». Уже на первом пункте моя система дала трещину — примерно как потолок в моей комнате.

Дальше пошло легче, потому что я перестал притворяться, что выбираю всерьёз, и начал просто перечислять. Врач. Тут я представил себя в белом халате, с чужой кровью, чужой болью и ответственностью за то, будет человек жить или нет. Вычеркнул почти сразу — не из брезгливости, а из честности: я не тот, кому можно доверить чью-то жизнь, я и со своей-то не справляюсь. Юрист — звучит солидно, но я не мог припомнить ни единого момента, когда меня искренне волновало устройство законов, кроме тех случаев, когда закон устраивал так, что мне не хотелось. Экономист — я даже не знал, чем экономисты занимаются. Кажется, чем-то, что позволяет им уверенно объяснять, почему всё подорожало, уже после того, как всё подорожало.

Список рос. Учитель — нет, я слишком хорошо помнил учителей и слишком хорошо помнил себя за партой, чтобы желать этого кому бы то ни было, и меньше всего себе. Журналист — уже теплее, я любил слова, но я представил, как звоню незнакомым людям и настойчиво что-то у них выпытываю, и понял, что скорее умру. Инженер — как отец. Тут я задержался. Не потому что хотел, а потому что это был путь наименьшего сопротивления: отец бы обрадовался, устроил бы, показал бы. Проходная, стол, двадцать шесть лет. Я приписал: «(??? страшно)» — и сам не понял, что меня напугало: сама профессия или лёгкость, с которой я мог бы в неё соскользнуть, просто чтобы никто больше не задавал вопросов.

Я откинулся на стуле и посмотрел на список. Одиннадцать пунктов. Одиннадцать возможных жизней. И ни одной, глядя на которую, я почувствовал бы то, что, по идее, должен чувствовать человек, нашедший своё, — вот это самое, о чём пишут в книжках, «ёкнуло сердце». Ничего не ёкало. Сердце вело себя как чиновник в конце рабочего дня: приёма нет, приходите завтра, вопрос не по адресу.

И тут до меня дошло кое-что, от чего суп в желудке стал холодным. Каждый пункт этого списка был не выбором, а похоронами. Стоило мне выбрать «журналиста» — и я навсегда убивал в себе врача, инженера, того странного человека, которым я мог бы стать, поехав, скажем, работать смотрителем маяка (был, был у меня и такой пункт, номер девять, в минуту отчаяния). Выбирая одно, я вычёркивал всё остальное. А я не хотел вычёркивать. Мне казалось чудовищно несправедливым, что за жизнь дают прожить только одну жизнь. Кто это придумал? С кем можно поговорить об изменении этого правила?

Я где-то читал — а может, слышал, а может, сам придумал и приписал кому-то умному, так честнее звучит, — что человек больше всего боится не сделать неправильный выбор. Чело-

век больше всего боится, что, сделав любой выбор, он никогда не узнает, каким был бы правильный. Ты живёшь одну версию себя и до самого конца гадаешь, не была ли соседняя версия счастливее. И спросить не у кого, потому что тот, соседний ты, не существует. Он остался в вычеркнутом.

От этих мыслей меня спасла мать — позвонила с работы.

— Ты поел? — Первый вопрос всегда про еду. У моей матери любовь измеряется в калориях.

— Поел.

— Суп?

— Суп.

— Про институт думал?

Вот оно. Даже по телефону, за десять километров, она нашла способ вставить это.

— Думаю, — сказал я. — Прямо вот сейчас думаю. Составляю список.

— Какой список? — В голосе появилась осторожная надежда, будто я сообщил, что уже поступил, женился и завёл ипотеку.

— Кем я могу стать.

Пауза. Я почти слышал, как она решает, радоваться ей или тревожиться. Мать умеет делать это одновременно, у неё врождённый дар.

— И кем? — спросила она наконец.

Я посмотрел на список. Одиннадцать похорон.

— Пока никем, — честно сказал я. — Но список внушительный.

Она вздохнула. Этот вздох я знаю с рождения. Так вздыхают люди, которые давно перестали ждать от жизни лёгкости, но ещё не разучились надеяться на неё для своих детей.

— Тём. Ну нельзя же так. Все твои одноклассники уже определились. Вон, Ромка Синицын — на программиста, Катя — в медицинский, Марк, говорят, вообще бизнес открыл...

— Мам.

— Что «мам»? Я же о тебе беспокоюсь. Тебе восемнадцать лет. В твоём возрасте я уже точно знала, чего хочу.

— И чего ты хотела?

Пауза. Длинная, другая, не такая, как раньше. Такие паузы бывают, когда человек лезет в дальний ящик памяти, а там пыль и что-то забытое.

— Неважно, — сказала она. — Разогрей себе ещё что-нибудь, ты растёшь.

Я не рос уже года два, но спорить не стал. Меня зацепило это «неважно». Оно повисло в трубке, как та трещина на потолке, — тонкое, извилистое, ведущее куда-то, куда мне пока не показывали. В твоём возрасте я уже точно знала, чего хочу. И чего же ты хотела, мам? И почему это стало «неважно»? В какой момент чьё-то самое важное превращается в «неважно», и замечает ли человек этот момент, или всё происходит незаметно, как рост трещины?

Мы попрощались. Я закрыл ноутбук, не сохранив документ. Список из одиннадцати похорон канул в никуда — туда же, куда канули все мои непрожитые жизни. Я подумал: вот и первый мой выбор. Не выбрать. Тоже, между прочим, выбор, и, кажется, самый трусливый из всех.

За окном был всё тот же двор. Качели. Песочница. Мусорка. Блестящая перспектива.

А в голове почему-то крутилось материнское «неважно» — и я, восемнадцатилетний, впервые заподозрил, что взрослые, которые так уверенно требуют, чтобы я определился, сами когда-то что-то в себе вычеркнули. И, может быть, до сих пор не простили себе.

Но это была слишком большая мысль для человека, который в одиннадцать утра ещё не решил, вставать ли ему с кровати. Я отложил её на потом. Как выяснится позже, «потом» у меня было любимым местом хранения всего по-настоящему важного.

Глава 3. Кухня

В нашей семье есть комната, где решаются судьбы. Это не кабинет — кабинета у нас нет, откуда у инженера кабинет. И не гостиная, гостиная существует для телевизора и гостей, которые давно не ходят. Судьбы у нас решаются на кухне. Девять квадратных метров, стол, четыре табуретки (одна шатается — на неё сажают того, на кого сердятся), холодильник с магнитами из городов, где мы никогда не были, и окно во двор с видом на ту самую блестящую перспективу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.